

Метафизическая антропокrimинология

Влечение к хаосу

Практически все главные герои Достоевского не желают быть тем, чем они представляются себе в собственных глазах. Страстная, напряженная устремленность куда-то вовне становится оборотной стороной их недовольства сущим, их неудовлетворенности своим положением в мире. Те из них, кто обладает сильным, незаурядным интеллектом и предрасположены к метафизическому умозрению, убеждены в существовании иной реальности. Избыток духовной энергии позволяет им временами входить в непосредственные соприкосновения либо с темными, либо со светлыми ирреалиями метафизического мира. После каждого из таких контактов, будь то чистосердечная молитва или воображаемое «мыслепреступление», они возвращаются в исходное состояние с уже изменившимся нравственным лицом — либо высветленным, либо несущем на себе некую темную печать.

Человеческое «я» многомерно и выступает таковым во всех его проявлениях, включая и те, что носят асоциальный, криминальный характер. Повсеместно оно обнаруживает себя как дитя двух миров — физического и метафизического. Для Достоевского-социолога человек, как некогда и для Аристотеля, — это политическое, т. е. общественное животное, способное к соблюдению законов и нарушениям их. Личность преступника как человека, в чьих мотивах, ориентациях и поведении преобладают деструктивные

компоненты, преследуемые уголовным законодательством, имеет не менее сложную структуру, чем индивидуальное «я» того, кто обладает положительными социальными качествами.

Однако мотивационная сфера как та внутренняя «кухня» или, точнее, «лаборатория», где возникают «мыслепреступления», не исчерпывается одними рассудочными, рационально объяснимыми ориентациями. Не случайно внутри индивидуального «я» многих героев Достоевского почти всегда обнаруживается некое иррациональное начало с отрицательным зарядом, слабо поддающееся контролю разумных доводов. При этом чаще всего происходит так, что не сами деструктивные импульсы подчиняются охранительным морально-правовым доводам, а, напротив, рассудок оказывается поставлен в зависимость от них. В результате рациональная деятельность устремляется на логическое обоснование допустимости как самих имморально-криминальных импульсов, так и целей, на которые они устремлены.

Достоевский был убежден, что в бытии в целом и в человеческой природе в частности, присутствуют свойства, которые никогда не позволят человечеству устроиться на мирных, спокойных, гармонических началах. У него вызвали большие сомнения утверждения европейских теоретиков о том, что цивилизация постепенно облагораживает человека и смягчает человеческую природу.

Достоевский многократно высказывал мысль о том, что никогда не существовали и вряд ли когда-нибудь будут существовать абсолютно надежные защитные гарантии от появления людей, обуреваемых стремлением взять и одним махом обрушить все заграждения, запреты, нормы, нравственность, право, т. е. все, что не позволяет человеку ощущать себя совершенно свободным существом.

Как художника-аналитика его влекла удивительная и даже парадоксальная особенность человеческой психики, состоящая в том, что люди способны время от времени ощущать недовольство от царящего вокруг них порядка, что их начинает раздражать однообразное социальное существование в плену ограничений и законов. И тогда им вместо порядка начинает хотеться хаоса, а вместо созидания — разрушения.

Кстати, мотив, который у Достоевского развернулся в грандиозную философему, успел обозначиться уже у Пушкина в «Пире во время чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Тема иррационального влечения к гибели, бездне, хаосу станет лейтмотивом всего творчества Достоевского, начиная с «Записок из подполья». С предельной обнаженностью это влечение продемонстрирует Подпольный господин, в котором как будто просыпается дремавшая дотоле жажда отрицания, беспорядка, зла, беззакония, преступлений. И он, чьими устами глаголет сумрачная ночная душа, заявит: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и нам опять по своей глупой воле пожить».

Разумеется, человек вправе свободно заявлять о своих желаниях и умонастроениях. Но это не снимает вопроса о правомерности и приемлемости их содержания. Одно дело, когда они пронизаны пафосом созидания, и совсем другое, когда от них исходит энергия разрушения.

Еще Лейбниц утверждал, что человек всегда не прав, когда отрицает, поскольку по большому счету с его сторо-

ны в отрицании нет особой надобности. Более того, оно попросту излишне. Мир так устроен, что все существующее рано или поздно само отрицается изнутри, либо же неизбежно подвергается отрицанию извне. Поэтому человеку следует использовать отведенное ему судьбой краткое земное время не на отрицание, а на утверждение, созидание, творчество. Только на этом пути он может быть подобен Богу-творцу.

В христианском миропонимании всякое отрицание является производным от дьявола, который символизирует всеобщее разрушительное начало, метафизическую волю к небытию, темное тяготение человека к злу в его различных формах.

Достоевский приложил немало сил для исследования темной метафизической реальности, откуда исходят бессознательные и сознательные интенции отрицания-разрушения. Пребывающая за порогом индивидуального сознания, вне пределов досягаемости нормативно-регулятивных усилий рассудка и разума, эта реальность соприкасается своей верхней границей (если вообразить таковую) с индивидуальным «я» как самосознающей целостностью. Что же касается нижнего предела, то его попросту нет, что позволяет сравнивать ее с бездонным колодецем, сообщающимся с архаическими глубинами стихийного предсуществования. Там, в бездне этого колодца таятся темные страхи, дикие фантазии, неконтролируемые влечения, пугающие образы и еще многое из того, что чаще всего невыразимо словами, что не укладывается ни в какие рациональные мерки, не поддается логически удовлетворительным объяснениям и потому кажется чем-то не своим, чужим. Пребывая, казалось бы, в пределах индивидуального «я», все это оказывается вместе с тем столь чужде-

родным, что «я» отказывается считать его своей принадлежностью и склонно обозначать его понятием «не-я».

Раздвоение внутреннего мира на «я» и «не-я» — один из наиболее драматических сюжетов человеческого существования. Именно здесь, между полюсами этой антитезы издавна рождаются самые крупные экзистенциальные трагедии.

Позывы к преступлению могут исходить из обеих областей, т. е. как от «я», так и от «не-я». В первом случае они выглядят как сознательные мотивы, во втором предстают как бессознательные психические импульсы агрессивно-деструктивного характера.

Что касается криминально ориентированных импульсов, то они могут не достигать высших уровней самосознания личности, т. е. могут быть не ясны ей самой в силу своего значительного отличия от рациональных мотивов привычно-обыденного свойства. Человек в один из моментов может с удивлением обнаружить их в себе и у него будет достаточно оснований для того, чтобы считать их принадлежностью своего неподконтрольного «не-я». Когда Раскольников в критической ситуации полного обнажения сути всего и вся, т. е. когда прятаться бесполезно, хитрить бессмысленно, лгать невозможно, говорит следователю Порфирию Петровичу: «Это не я убил», то истинный смысл его фразы таков: «Это мое “не-я” убило».

Сходным образом ответил в аналогичной ситуации на вопрос о совершенном им насилии и Ставрогин.

Подобные коллизии обнаруживают, что преступник зачастую сам не в полной мере понимает, что толкнуло его на преступление. Таким образом, между «я» и «не-я» открывается провал незнания, непонимания, преодолеть который разуму не под силу.

Герои Достоевского не знают имени той силы, которая заставляет их идти на преступления. Сам писатель, обнаружив местонахождение этой силы — подполье, однако саму ее не проименовал. Мы, следуя, как уже отмечалось выше, за Лейбницем и Даниилом Андреевым, назвали ее ночной душой.

Достоевскому всегда хотелось высветить то, что происходит в глубинах человеческого подполья и придвинуться, насколько это возможно, к постижению непостижимого. Поэтому писатель всегда был предельно внимателен к опосредованным репрезентациям бессознательных импульсов во снах, нечаянных репликах и эмоциональных реакциях. Вот как он, например, трактовал смех: «Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете его подноготную... Иной характер долго не раскусить, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони ... Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит или как он говорит, или как плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеалами, а вы смотрите лучше, когда он смеется... Примечайте при этом все оттенки... смех есть самая верная проба души» (13,78).

Ночная душа — темный двойник

Ночная душа предстает как темный двойник личностного «я», как его тайная, повсюду за ним следующая тень, способная нападать на само «я» и провоцировать его на агрессивные акции. Дремлющая в ней первобытная энергия, для которой наиболее предпочтительные пути разрядки — борьба, насилие, разрушение, может толкнуть человека на стезю имморального поступка и уголовного преступления. Так, темный двойник Версилова, пребывающий

внутри него, заставляет его разбить икону и провоцирует попытку убийства Ахмаковой.

Случаи, когда ночная душа перехватывает инициативу и начинает диктовать и навязывать герою свою линию поведения, как правило, не проходят для него бесследно. Тот же Версилов после пережитых эксцессов заболевает и впоследствии уже не может духовно и нравственно воскреснуть и лишь по инерции продолжает свое существование, «духовно едва живой».

В ситуациях, когда герой еще не исчерпал имеющихся в его распоряжении потенций духовного развития, все может ограничиться отдельным прорывом в аномативность и последующим благополучным возвращением на исходные духовно-нравственные позиции. Так произошло с Аркадием Долгоруким, когда он оказался оскорблен и несправедливо изгнан из игорного дома. От пережитого унижения, охвативших его чувств позора и обиды он совершенно утратил способность контролировать себя. В голове его начали мелькать мысли вначале о самоубийстве, а затем о преступлении, которое ему вдруг захотелось совершить в отместку всем. Сознывая нелепость этих мыслей, он, тем не менее, начинает действовать, подчиняясь какой-то силе, изнутри подталкивающей его к опасной черте. Отметая рассудочные контраргументы, он уже думает о том, что хорошо было бы все вокруг взорвать, уничтожить всех виновных и невиновных, а затем убить и себя. Позднее он скажет: «Да, преступление навертывалось в ту ночь и только случайно не совершилось» (13, 268).

Шагая по переулку, Аркадий вдруг замечает за забором огромный дровяной склад. И ему тут же захотелось его поджечь. Он так описывает мотивы этого своего порыва: «Для чего я хотел это сделать — не знаю, совсем не знаю. Помню только, что мне очень вдруг захотелось» (13, 268).

Здесь налицо основные признаки резкой активизации ночной души — неодолимость возникшего желания, его исключительно иррациональный характер и сугубо разрушительная, криминальная направленность. К этому следует добавить еще и сопровождающее этот импульсивный порыв состояние непонимания его истинной природы.

Еще более характерный и вместе с тем уже совершенно реальный эксцесс с криминальным проявлением ночной души разбирается Достоевским в «Дневнике писателя». Это история преступления петербургской мещанки Екатерины Корниловой. Беременная, она в злобе на мужа выбросила из окна четвертого этажа шестилетнюю падчерицу. Девочка случайно осталась жива и не повредилась. Корнилова была осуждена в каторгу навечно и должна была вскоре отправиться в Сибирь. Достоевский посетил ее в тюрьме и во время встречи спросил, как же это все случилось? Та отвечала: «Пожелала злое, только совсем уже тут не моя как бы воля была, а чья-то чужая» (24, 39).

Рассуждая о случившемся, Достоевский утверждает, что на это дело нельзя смотреть слишком просто, что причина преступления заключалась не только в попреках мужа и обиде на него, но прежде всего в «аффекте беременности»: «Она переживала в то время несколько дней или недель того особого, весьма неисследованного, но неоспоримо существующего состояния иных беременных женщин, когда в душе беременной женщины происходят странные переломы, странные подчинения и влияния, сумасшествия без сумасшествия, и которые могут иногда доходить до слишком сильных уродливостей» (24, 36).

В беседе со служительницей острога Достоевский узнал от той, что при поступлении Корнилова была грубой и злой, но затем, после разрешения от бремени, стала тихой, кроткой, ласковой. То есть вместе с беременностью исчез-

ла и болезненная, бессознательная агрессивность, приведшая ее к преступлению.

Достоевский склонен настаивать на том, что человек, ставший жертвой своих темных, агрессивных начал, не подлежит однозначному, безапелляционному осуждению. На него не следует смотреть, как на некий инородный орган в социальном организме, подлежащий ампутации. Такие случаи и личности заслуживают особо пристального рассмотрения.

Именно такой случай Достоевский изображает в «Братьях Карамазовых», в главе «Бесенок» и истории больной девушки Лизы Хохлаковой. Он описывает удивительный характер — странное и страшное сочетание простодушия и злобности, стыдливости и бесстыдства, доброты и садизма. Лиза заявляет, что любит преступления, желает творить зло, хотела бы наделать много зла, совершить самый большой на земле грех или, по крайней мере, зажечь чей-нибудь дом или кого-нибудь убить. После этого пусть все узнают, обступят ее и будут показывать на нее пальцами и это будет «очень приятно».

Ей нравится бранить Бога и наблюдать, как черти во сне обступают ее. Ей очень хотелось бы самой распять четырехлетнего мальчика, обрезать ему все пальчики на ручках, а потом, когда он будет плакать и стонать, сидеть рядом и кушать ананасный компот.

Лиза признается, что временами ей не хочется жить, что все вокруг вызывает невыносимое отвращение. Ее часто посещает желание быть обманутой и истерзанной. «Я хочу себя разрушать», — заявляет она.

После признаний Подпольного господина это, пожалуй, одна из самых впечатляющих исповедей ночной души человека. Здесь обнаженность ее желаний и притязаний достигает последнего предела. И хотя все это пребывает пока

всего лишь на уровне воображения и фантазируемых «мыслепреступлений», впечатление от них остается весьма сильное.

Характерно, что признания Лизы Хохлаковой явно перекликаются с разрушительными вожделениями десадовской Клервиль, подруги его героини Жюльетты: «Как я хочу, — говорит она, — найти такое преступление, воздействие которого не прекратилось бы и тогда, когда сама я действовать уже не смогу, так чтобы в моей жизни не было ни мгновения, даже во сне, когда бы я не была причиной какой-нибудь порчи, и чтобы эта порча ширилась-ширилась, ведя к всеобщему разврату, к смятению такому страшному, чтоб его следствия длились и за пределами моей жизни».

Подобный деструктивный максимализм, такая жажда тотальной энтропии, полного распада всех устоев цивилизации присущи лишь ночной душе мира. И не будь на страже миропорядка Творца и Мiroдержца, устремления такого рода не встречали бы на своем пути никаких преград.

Достоевский время от времени прибегает к характерному художественному приему, изображая сцены, в которых ночная душа героя как бы материализуется в его двойнике. Перед глазами «мыслепреступника» предстает его собственная «тень» в облике живого человека. Так происходит с Иваном, который в один из моментов внезапно осознает ту тайную, но непреложную связь, которая существует между ним и Смердяковым. Это случается в виде приступа невыносимой метафизической тоски, которая навалилась на него, когда он после сцены в трактире шел домой: «Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске

была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла... “Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве...” Иван Федорович попробовал было “не думать”, но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет...» (14, 242). В итоге оказалось, что причина тоски в Смердякове, которого Иван не мог видеть. Темное alter ego предстало столь безобразным, что душа Ивана не смогла его вынести, переполнившись отвращением.

Что же касается ощущаемой Иваном тоски-тошноты, то Достоевский отнюдь не случайно именно так, через состояние такого рода передает суть отношения Ивана к Смердякову. Ему наверняка было известно, что существует давняя традиция сопровождать появление Сатаны и бесов возникновением у человека ощущения тошноты. То есть возникает прямое указание на истинную природу всего того, что исходит от Смердякова.

Преступник — эмпирический индивид и метафизическая личность

Раздвоенность человека на уровне психики способна принимать множество разных, в том числе и криминальных форм и обнаруживаться практически повсеместно. Но за нею Достоевский всегда усматривал раздвоенность более существенного вида. В его глазах преступник предстал чаще всего в двух основных ипостасях — как эмпирический индивид и как метафизическая личность.

В первом качестве это «мимо идущий лик земной», носитель типических социальных ролей и масок: бедного

студента или богатого аристократа, чиновника или лакея, находящихся под влиянием окружающей их среды и обстановки.

Как метафизическая личность преступник — это существо, которое наиболее восприимчиво к импульсам, идущим из темного сверхфизического мира. Его «я» наполняется безблагодатным опытом демонического происхождения. Его облик, осененный ореолом полутьмы, излучает загадочность и таинственность. Так, в необычной мрачности Раскольниковова, в лице-маске Свидригайлова, в особой, впечатляющей красоте Ставрогина видится нечто нездешнее, демоническое. Даже в облике ничтожного Смердякова появляется после убийства что-то жуткое, всерьез утрашившее отнюдь не робкого Ивана.

Эти герои как будто на какое-то время возвращаются из некоего дальнего путешествия. Возникнув из сумрака, они затем вновь в него погружаются, так и оставшись никем до конца не разгаданными. Они же отчего-то чаще других оказываются в центре криминальных коллизий, словно какие-то темные силы нарочно взвихривают все вокруг них, резко расширяя пространство их сумрачного метафизического опыта.

Если преступник в качестве эмпирического индивида, его мотивы и поведение вполне поддаются рациональному анализу, то как метафизическая личность он непроницаем для рассудка. В нем остается нечто внутренне бесконечное, неисчерпаемое, не раскрывающееся до конца и потому непознаваемое.

Не только личность преступника, но и сам акт преступления двоятся с глазех Достоевского: он видит в последнем так же и эмпирический факт, и метафизическую реалию. Как определенное событие внутри природно-социального континуума, детерминированное социальными и психоло-

гическими факторами, преступление подлежит моральным и юридическим оценкам, влечет за собой нравственное осуждение и уголовное наказание. В качестве же метафизической реалии преступление — это акт «люциферического» самоутверждения, оскорбляющий установленный Богом миропорядок, попирающий утвержденные Мiroдержцем первоосновы бытия. Здесь смыслы преступления, его истинные причины и следствия выходят далеко за рамки очевидной социальной реальности. Поэтому преступление неизбежно влечет за собой не просто наказание со стороны общества и государства, но и метафизическое возмездие от высших сил, стоящих на страже миропорядка.

Достоевский неоднократно говорил о том, что зло таится в человеческой жизни гораздо глубже, чем предполагают социалисты, и что измененное общественное устройство не ликвидирует его корней. Человеческая душа еще долго будет оставаться источником различных ненормальностей, грехов и преступлений. Законы же, по которым это происходит и будет происходить, науке до сих пор неизвестны.

Иррациональность множества преступлений, не вписывающаяся в логические схемы рассудочных объяснений, и заставляет обращаться к метафизике в надежде через нее прояснить что-либо.

Для Достоевского экзистенциально-метафизическая природа преступления заключается в его способности быть средством заглядывания в бездну небытия. Оно позволяет преступнику упиться собственной дерзостью и испытать завораживающую силу ужаса, смешанного с мучительно-сладостным наслаждением от прикосновения к запретному.

Когда человек начинает испытывать неудержимое влечение к темному знанию о запретном, то этой метафизической страсти почти невозможно противодействовать

обычными способами и средствами. Он становится глух к рациональным доводам и увещаниям. Движущие им мотивы обретают характер наваждения, отмеченного печатью демонического соблазна.

Когда же преступление совершается, то происшедшее производит необратимые перемены в человеческом духе, непоправимо деформируя его, резко расширяя пространство темного метафизического опыта. Бесчинства и всевластие ночной души превращают ее обладателя в «человека-демона», «человека-зверя», «человека-паука», убийцу, самоубийцу и т.д. В результате каждому, кто прошел через такие метаморфозы и остался жив, открывается то, о чем он и не ведал, и не подозревал. На все его существование ложится тень запредельного, демонического мира. И из-под крыла этой тени ему уже не дано выскользнуть.